

Ожившая легенда
(Пролог к роману «Незаконнорождённая дочь императрицы»)

Меня с давних пор удивляет вопрос, повторяющийся в разных детективных кино и телефильмах. Его задают следователи подозреваемым: «А что вы делали такого-то числа такого-то года?»

Не знаю, как кто, я же могу связать с датой едва ли десяток событий, произошедших со мной, а о каких-нибудь незначительных моих действиях в какой-то определённый день и год и говорить нечего.

Одно из памятных событий случилось поздним вечером 20 августа 2007 года в старинном Ерлинском парке Кораблинского района Рязанской области. Три недели перед этим я провела в нём как художественный руководитель детского творческого лагеря, который так и назывался «Ерлинский парк». В то время там была, что называется, «горячая пора»: к 170-летию его бывшего, последнего, владельца велись восстановительные работы, в которых помимо специалистов принимали участие студенты, курсанты, то и дело приезжало разных рангов районное и областное начальство.

Днём в парке работали экскаваторы: восстанавливали плотины на каскаде спущенных прудов. Лишь два года прошло, как ушла из них большая вода, а дно уже покрыли невесть как посеявшиеся травы, серебристо-бирюзовыми волнами заколыхались на ветру.

Днём в парке трудились реставраторы, облагораживали древний обелиск. На глазах старожилов он из кирпичного столба, покрытого изрядно облупившейся серой штукатуркой, превращался в античную бело-голубую колонну. От неё лучами расходились посыпанные гравием дорожки. От неё, как от глыбы арктического льда, веяло холодом. И, казалось, чтобы уберечь от этой стужи, строители укутали зелёной сеткой, оградили лесами остов Архангельского храма. Время от времени это причудливо-безобразное одеяние освещалось трепещущим лунным светом. Где-то внутри храма работала электросварка. Но её обычно опасно яркий, до боли в глазах, свет не в силах был соперничать с солнечным сиянием. Солнцу противостояли лишь кроны вековых деревьев, и под ними синел прохладный полумрак, который, однако, никого из многочисленных обитателей парка уже не привлекал. Стояли последние, желанные, жаркие денёчки. Уже прохладны были и поздние утра, и ранние вечера. И хотя юные участники творческого лагеря держали фасон и прибегали на занятия в майках, шортах и мини-юбочках, гусиная кожа на руках и ногах свидетельствовала лишь о стойкости ребячьего духа.

На занятия в мастерские, которые вели три года подряд специалисты, приезжавшие из Рязани и Москвы, большинство ребят приходило из Ерлина. Для них это был хоженный переходный путь: все мастерские располагались в школьных классах. Тем же путём прежде ходили в школу их матери и отцы, даже дедушки и бабушки. Однако никто из них толком не мог объяснить, когда же школа, которой вот-вот должно было исполниться сто лет, очутилась в парке. Но все знали, что до Октябрьской революции здание, где она размещается, занимал хозяйственный флигель большой старинной усадьбы. Не забыли в селе и фамилии последнего её владельца и того, что ему, восьмидесятилетнему старику, со старухой-женой пришлось бежать из усадебного дома, когда сельчане в революционном порыве принялись грабить сначала погреба, а напробоваввшись там вин, и за дом принялись. Повода к разбою никто теперь в селе вспомнить не мог. Мало кто принимал версию о том, что грабителями были их предки, а потому, рассказывая людям пришедшим об этом горестном событии, ерлинцы перекладывали вину на соседей, благо их рядом не было, иногда добавляя им в оправдание: шёл-де к концу 17-й год, и не одна усадьба в губернии пылала и рушилась.

Но как бы то ни было, от двухэтажного усадебного дома остался только фундамент, да и то довольно скоро исчез под толщей так называемого культурного слоя. Уцелели в парке, дошли до наших дней, два двухэтажных флигеля, две чаши фонтанов, обелиск и руины

храма, а за парком – дома управляющего и урядника, старинные приземистые постройки скотного двора. Ну и главное – выжил парк.

Этот удивительный древесный массив открывается проезжающему через село путнику, словно оазис в безлесной степи. А задержавшегося отдохнуть путешественника поражает уже тем, что, начинаясь как парк, незаметно переходит в лес или наоборот: идёшь обычным вроде бы лесом и – вдруг оказываешься в парке, уникальном, – дендрарии, где растут кедр, плакучая ель, лжетсуга, ясень пенсильванский и, в общем, деревья и кустарники 88 видов.

Жители села довольно скоро поняли цену дендрария и даже в лихолетья воздерживались от порубок. А вот красотой и значимостью древней, воздвигнутой в 1779 году, церкви пренебрегли: со спокойной совестью держали в ней пестициды.

Впрочем, это была поголовная дань утверждающемуся в стране атеизму. Моя соседка, старая, верующая женщина без всяких эмоций вспоминала, к слову пришлось, что колхозники рязанского села Пощупово держали зерно в колокольне знаменитого теперь на всю страну древнего Богословского монастыря, а в купальне его святого источника (в бассейне) хранили зимой бочки с огурцами и помидорами. А в детстве меня поразило, как мать моего одноклассника, почтальонша, тётя Клава накрыла иконами крынки с молоком. Но время шло, улеглись революционные страсти, образованнее стали в стране люди и, наконец, заинтересовались не только историей партии, но и историей страны вообще, и с краеведения было снято табу. В Рязани появились книги «Старые художники и архитекторы Рязани», «Рязань», «На Земле рязанской», «Гордость земли Рязанской» и множество разных путеводителей.

Не обошла стороной эта заинтересованность и ерлинцев, прежде всех, школьных учителей и учеников. Узнали они, что своё любимое имение в 1917 году вынужден был покинуть человек, какого вполне можно причислить к тем, кто включён в «Гордость земли Рязанской». Потому, что был это известный в конце XIX и начале XX века литератор, издатель популярной «Петербургской газеты», историк балета, автор не превзойденного пока труда «История танцев», талантливый организатор сельского хозяйства, создатель двух уникальных дендрариев в Сочи и Ерлине Сергей Николаевич Худеков. Вдобавок к перечисленному, слыл он в то время ещё и видным общественным деятелем, как в Рязанской губернии, так и Петербурге, а его ерлинское имение считалось в округе не только образцовым хозяйством, но и культурным центром.

Овладевши такими знаниями, принялись ерлинцы мечтать о возрождении усадьбы (в качестве музея и туристского центра), тем более, подобные музеи-усадьбы стали появляться не только в других областях, но и своей рязанской. Однако сменилось не только поколение мечтателей – сменился государственный строй в стране, наступил новый XXI век, прежде чем мечта начала сбываться.

Удалённое от больших дорог, лишённое регулярного автобусного сообщения с районным центром, Ерлино сделалось притягательным для областных чиновников разных рангов. Два губернатора не обошли его вниманием: один лиственницу в парке посадил, другой, сменивший прежнего, заложил камень под будущую гостиницу. И во всех мероприятиях местные школьники принимали участие. Девятилетняя школа стала неким мозговым центром села. Её реставрировали, московские меценаты, оснастили компьютерный класс, выделили средства на детский творческий лагерь.

Он открылся на площадке перед школой в тёплый августовский вечер настоящим классическим балом. Дамы всех возрастов в бальных платьях, мужчины, правда, не все во фраках, но в строгих вечерних костюмах.

Балы устраивались и в следующие лагерные сезоны. Из открытых окон школы звучала живая фортепьянная музыка, как во времена Худекова. Под посаженной им елью устраивались ежевечерние посиделки. Участники лагеря, воспитанники и наставники, на равных рассказывали разные истории, обменивались мнениями и впечатлениями.

Рассказывали ребята и об услышанных от бабушек подробностях усадебного погрома. Какой-то мужик изрубил перед балконом большого дома худековский рояль. В зеркало, которое грабители выволокли наружу, врезался неожиданно оказавшийся среди них огромный бык. Какие-то злодеи сбросили в пруд орла и другие парковые скульптуры. Через 90 лет после случившегося все юные ерлинцы воспринимали его как проявление вандализма и наперебой добавляли к нему рассказы о не связанных с ним, но близких ему по безнравственности поступках: осквернение какого-то целебного источника, могил и склепа на церковном погосте. И как бы ни были интересны эти реальные факты, наибольший успех выпадал на долю историй о чудесах. Но тут в первый же лагерный сезон наметилась любопытная особенность. Ребята, не живущие в Ерлине постоянно, рассказывали о чудесах, свидетелями которых бывали сами, ерлинцы же передавали чьи-то воспоминания, даже опубликованные писательские фантазии, никак не связанные с самим селом. Стоило же кому-нибудь забыть и начать повествование о ерлинских, ещё дохудековских чудесах, как рассказчика прерывал кто-то из земляков. Так я и не узнала, чем же закончились едва начавшиеся интригующие истории о красных ночных огнях на погосте церкви, о какой-то собаке, будто бы похороненной под обелиском. Этот обелиск ребята упорно называли солнечными часами и, убеждая тех, кто хотел видеть в нём символ плодородия, показали на деревья, посаженные кругом, в центре которого он возвышался.

Последние посиделки были посвящены ребячьим играм, стародавним и тем, что занимают детей и теперь. Кстати, на ерлинских балах очень популярными стали игры в почту и буриме, о которых ребята узнали от своих наставников. Но и наставники о многих играх услышали впервые. Некоторые из них, видимо, были сугубо местными. Так, признанная лагерная поэтесса Катя, закончившая тем летом школу, поведала о некой мистической игре. Играющие, чем их было больше, тем лучше, в полной темноте должны были вызвать бабку-матерщину. Для этой мистической бабки натягивалась в комнате нитка – канат. Существовало якобы в селе очень давнее поверье, будто крохотная бабка, являясь, ходит по нитке, а, делая неверный шаг, матерится. Но увидеть бабку никому до сих пор не удавалось.

Меня Катин рассказ заинтриговал. Я принялась задавать ей вопросы, но она отвечала на них неохотно и невразумительно. Я попросила её написать на основе этой игры рассказ на тему «Легенды старых усадеб» для литературной номинации уже объявленного литературно-художественного конкурса имени С.Н. Худекова.

Надо сказать, что из всех участников лагеря только одна Маша-синеглазка выбрала для своего конкурсного рассказа эту тему, остальные предпочли писать в стихах и прозе, рисовать о парке своего детства, о Худекове, о танцах. Но все с одинаковым интересом бежали в школу. И были утром там задолго до рабочих.

Но прежде ребят появлялась в парке старая-престарая собака. Возникла из поднимавшегося над руслом прудов тумана. Медленно брела, низко, к самой земле, опустив голову, будто постоянно приноживалась, и где-то на выходе из парка исчезала, чтобы опять появиться в тот же утренний час, пройти тот же путь к выходу, справа от асфальтированной дорожки, по мягкой щетине скошенной сныти. Старая и породистая, как сам парк, собака, гончая.

Я разглядывала её, идя в столовую на завтрак, заискивающе окликала, предлагала ей лакомства. К тому и другому она оставалась безучастной, а я не могла избавиться от чувства, что она из другого времени, потеряла и безуспешно ищет его – пору больших охот, заядлых охотников, быстроногих степных коней и яростных псов.

Ни днём, ни вечером я собаки не видела.

В преддверии вечера низко, подобно самолётам, идущим на посадку, пролетали мимо школы цапли. Они облюбовали для гнездовья оконце воды на русле пруда, вывели

птенцов и уже обучили их летать.

В преддверии вечера прогоняла через парк небольшое стадо овец, всклокоченных и грязных, старая согбенная женщина. А женщины молодые и стройные толкали к школе нарядные коляски с младенцами. Рассаживались на специально сколоченной для лагерных мероприятий эстраде, негромко щебетали. Пошебетать они, конечно, могли и на крыльчке одного из сельских домов, но, вероятно, школа для бывших её выпускниц не утратила своей притягательности. Может быть, она их теперь даже больше, чем прежде, объединяла: разъехались девушки из села и встречались лишь по праздникам да в отпуск. Когда сгущались сумерки, но не было ещё необходимости зажигать у школы фонарь, из-за почти разобранного реставраторами флигеля иногда выходила высокая женщина в пышной одежде и в задумчивости прогуливалась вдоль его нетронутой стены и близ открытого курсантами фундамента усадебного дома. Но на дорожку, ведущую от него к школе, она никогда не ступала и знакомиться со мной, как мне казалось, не собиралась, хотя и посматривала в мою сторону. Для знакомства же достаточно было ей пройти мимо школы, возвращаясь к себе в деревню, и сказать мне, сидящей на крыльце: «Добрый вечер!»

Я с неделю коротала на крыльце поздние вечера. Моя соседка по комнате уехала, сосед, живущий в классе рядом, после посиделок под старой елью уходил куда-то в село. Я оставалась в школе, да и во всём парке до полуночи, а то и значительно позже одна. Правда, почти в полной темноте приезжала на велосипеде пожелать мне спокойной ночи главная выдумщица лагеря Маша-синеглазка. Следом за ней вспарывали темноту и тишину какие-то мотоциклисты. Они доезжали до старой ели, разворачивались и с шумом (треском мотоциклов и гиканьем) исчезали. И опять вокруг меня была темень и тишь. Я была на крыльчке один на один с сотовым телефоном, которым в темноте не смогла бы воспользоваться. Но за спиной меня оберегала открытая дверь в освещённый коридор. Я зажигала свет и в пустой раздевалке. Её окно хорошо было видно с аллеи, ведущей к школе, и могло послужить моему соседу-полуночнику маяком.

Эта забота о коллеге объяснялась услышанным мною на посиделках рассказом (из серии чудесных историй) ерлинской учительницы. Как-то в осенний тёмный, но не поздний вечер, выйдя с сослуживицей из школы, они вдруг заблудились. Куда-то подевался у них из-под ног асфальт аллеи. Женщины на ощупь, едва ли не ползая, искали его, а когда нашли, не сразу разобрались, в какую же сторону им идти. А ведь по этой аллее они ходили годами в разную пору. Своего же соседа я считала человеком рассеянным, способным заблудиться в трёх соснах. Следовало бы, не дожидаясь его прихода, лечь спать, но у нас был только один ключ, который действовал изнутри и снаружи, и лучше было для меня, на ночь глядя, не выпускать ключа из рук.

В общем, чтобы скоротать вечер, скрасить одиночество, я ничего не имела против знакомства с, видимо, тоже приезжей дамой. По её одежде в стиле ретро, по прогулкам у останков старинных зданий, по необщительности я приняла её за архитектора-реставратора. Эти дамы знают себе цену и абы с кем не знакомятся. «Возможно, в её глазах я школьная сторожиха, общество с которой архитектору не прельщает. Или она, как и я, боится быть навязчивой, а потому и предпочитает уходить тем же путём, что и приходит», – думала я. А то, что никогда не встречала даму днём, объясняла себе нашим совпадающим по времени рабочим графиком. Пока я была занята в мастерской и на разных, начинающихся сразу после завтрака, а то и раньше экскурсиях, ретро-дама следила за работами внутри храма, за стеной флигеля, в котором предполагалось разместить музей, у фонтанов и прудов.

Был последний вечер в лагере. За пределами парка на площадке у детского сада разворачивалась прощальная дискотека. Принаряженный и напомаженный сосед устремился на неё. Пренебрегли посиделками на эстраде юные матери, отменили свою полуночную выездку мотоциклисты.

Я раньше обычного обосновалась на крылечке. Сидела на низеньком классном стульчике и грустила. Накануне во время нашей длинной и дальней экскурсии в имение генерала Скобелева спилили у школы несколько вековых деревьев. Среди них оказался любимый мною серебристый тополь. Листья его светились в самую непроглядную тьму, к тому же улавливали приближение ветра и начинали трепетать, когда все остальные деревья были абсолютно спокойны, словно предупреждали их: «Ветер приближается, большой ветер! Соберитесь с силами!»

«Вековые деревья спилили, чтобы освободить место памятнику Худекову. А разве они не были всё это время памятником ему, возможно, им самим и созданным? Есть же фотография, где он стоит у небольшой, чуть выше его, ёлки. Не с ней ли они соседствовали долгие годы? А вдруг придёт кому-нибудь в голову спилить и эту ель, чтобы водрузить на её месте какую-нибудь парковую скульптуру или цветочную вазу? Уж не ретро-дама ли организовала эту поруху?» – размышляла я и бесцельно смотрела в образовавшийся между деревьями прогал. Час назад в него была видна церковь, точнее её новое безобразное убранство. Теперь темнота поглотила сооружение.

И вдруг то ли на нём, то ли рядом с ним, на бывшем погосте вспыхнуло тёмно-алое пятно, будто зажглась лампа-фара. Вспыхнуло – погасло, загорелось в другом месте.

«Мальчишки, что ли вокруг церкви на мотоциклах ездят?» – мелькнула у меня разгадка и тут же была отброшена: красный огонь-пятно всё время менял уровень, пульсировал и вдруг, словно в землю ушёл.

«Забавно, – подумала я, – недалеко гремит современная музыка, скачут под неё дети, увешанные мобильниками, и тут же какие-то кладбищенские (?) огни. Не о них ли порывался рассказать Саша? И я не могу найти этому объяснения. А может, Саша меня и разыгрывает, но для этого он должен был сначала убедиться, что я на крылечке».

– Вам не жутко? – спросил приятный женский голос.

Я вздрогнула от неожиданности. На эстраде вполоборота ко мне сидела ретро-дама. Свет из окна раздевалки освещал её лишь настолько, чтобы я могла заключить: это она.

– Вам не страшно здесь одной? – повторила она, несколько изменив вопрос, решила, наверное, что предыдущего я не расслышала.

– А вам? У меня всё-таки за спиной дом – моя крепость. У вас же – ничего, если не считать молоденьких лиственниц, да и те далековато. Нет рядом собаки и, кажется, фонарика.

– Что касается собаки, то нету от неё никакого прока. Она стара, хрома и в последнее время плохо видит. Фонарик мне не нужен – я тут каждую травинку знаю.

– Так вы местная? – удивилась я. Нынешних сельских жительниц отличить от горожанок можно разве по рукам. Но в облике незнакомки было что-то не позволяющее мне посчитать её постоянной обитательницей Ерлина. Это что-то и делало её дамой.

– Можно сказать, старожилка, – усмехнулась она. – Приехала давным-давно. Думала на время и – осталась навечно. Ах, простите, я забыла представиться и поздороваться. Здраваться, впрочем, уже поздно, а зовут меня Валентиной Морицевной. Это вам ни о чём не говорит?

Я спешно перебрала в уме своих шапочных знакомых:

– Извините, нет. Разве что отчество у вас для села необычное, но вы ведь сказали, что приехали сюда. А имя у вас распространённое, к тому же типично местное. Причём все здешние Валентины почему-то примерно одного возраста.

– Не удивительно, – объяснила дама, – их всех называли в честь Валентины Терешковой. Я же родилась значительно раньше и меня назвали в честь другой славной Валентины. Это уточнение никак не вязалось с внешностью женщины. В сумраке, конечно, трудно было определить возраст собеседницы, да ещё сидящей в некотором отдалении, но я решила: ей едва за тридцать. Прекрасная причёска. Короткая стрижка почти по всей голове, а сзади тугие, спадающие на спину локоны. Такую причёску позволяют себе только молодые обладательницы очень густых волос. Округлое лицо без предательских,

видных даже в темноте складок, идущих от носа к губам и... далее без остановок. Превосходная осанка. Сидит на этой самой эстраде, как статуэтка, не горбится, не меняет позы. И, наконец, костюм, на который может решиться только молодая и экстравагантная женщина. Светлое (то ли голубое, то ли сиреневое, а, может быть, и белое) платье в стиле не просто «ретро», а ультра-ретро. Казалось, под ним, если не фижмы, то дюжина накрахмаленных нижних юбок. Нечто подобное, только сильно укороченное носили в конце 50-х годов прошлого века, в пору юности актрисы Людмилы Гурченко и Лолиты Торез, была такая мексиканская кинозвезда, которую и копировала Гурченко. В общем, как определил бы финский писатель Марти Ларни, со мной разговаривала женщина лет 25 – 50. А по её собственному признанию, могло быть ей и больше 50. И это так меня поразило, что я поспешила с догадкой:

– Вас назвали в честь лётчицы Гризодубовой! – и тут же поняла: попала пальцем в небо. Никак не могу избавиться от манеры – «прыгать поперед батьки в пекло», как говорила моя бабушка. Валентина Гризодубова была героиней конца 30-х – середины 40-х годов прошлого века. Таким образом, я прибавляла собеседнице 20 лет и делала её в полном смысле ретро-дамой. Это, однако, её не огорчило, хотя женщины, особенно молодящиеся, к которым можно было причислить и Валентину Морицевну, очень не любят, когда кто-то пытается определить их истинный возраст.

– Нет, нет! – возразила она без всякого недовольства. – О ней тоже ничего ещё не знали. Меня назвали в честь святой Валентины. Была в Риме такая великомученица, за веру пострадала.

– Ваши родители были верующими! – сказала я, чтобы только не возвратиться к теме о возрасте. Теперь уже выходило, что моей собеседнице за 70.

– Тогда все были верующими! – ответила Валентина Морицевна.

В её ответе была безосновательная для моего понимания категоричность. «Тогда» уводило меня в недостижимое для моего восприятия временное пространство. В известном мне по моему и моих старших родственникам жизненному опыту, по учебникам истории отрезке времени, ограниченном Октябрьской революцией и насчитывающем уже 90 лет, никак не могли быть все верующими. В конце тридцатых годов, когда засияла звезда Валентины Гризодубовой, ещё продолжалось гонение на священников. Их ссылали, сажали в тюрьмы и даже расстреливали. Кто-то из сочувствующих им, верующих, конечно, мог назвать свою дочь именем святой, пострадавшей за веру. Но утверждать, что «тогда» (при советской власти?) все были верующими, как и теперь, верующие все, огромное заблуждение. Тем более, живя в Ерлине или бывая в нём в продолжении многих лет наездами, не могла не знать эта дама о пестицидах в церкви, о том, что разрушали её отнюдь не инопланетяне, не они сбрасывали с колокольни колокола и земная женщина этой акцией руководила. Звали её, чуть ли не Валентиной.

Но свое недоумение я оставила при себе. Мы молчали. Пауза затягивалась. Мне стало неуютно с незваной поздней гостьей, и я с надеждой всматривалась в темноту – не появится ли сосед. Его не было, не было больше и красных огней. Чувствуя себя в какой-то степени хозяйкой, я нарушила молчание, хотя понимала, что, продлив странный разговор, продлю и ставший тягостным визит дамы:

– Мне бы тоже следовало представиться...

– Ах, не трудитесь. Знаю, как вас величают, и чем вы занимаетесь. Это же деревня: здесь все обо всех всё знают. – Она произнесла это устало, с вздохом.

– А я вот за три недели так ничего о вас и не услышала. Увидела недавно и решила, что вы новый архитектор-реставратор (прежнего знаю) и по вашей воле погубили эти прекрасные деревья.

Я показала на поверженных великанов. Их обрубленные ветви целый день жгли перед школой. Плотный белесый дым низко стелился по земле, закрыл площадку с открытым фундаментом и продвинулся такой же тяжёлый и белесый к пруду. Стволы не все успели распилить. Один зачем-то рабочие подожгли. Потом они спокойно уехали, оставив

догоравшие костры и тлеющий изнутри ствол. Дети заливали их водой, которую носили в вёдрах из школы, и плакали.

– Дети плакали, – произнесла я вслух.

– Не стоит жалеть. Это были очень старые деревья. Внутри совсем трухлявые, потому вон и тлеет тополь изнутри. Могли и сами упасть – беды наделать. Бывают, знаете, деревья, наделённые злою силой, так вот, они такими и были зловещими деревьями. Их ещё Матвей Михайлович сажал, Ивинский. Я ведь решила встретиться с вами, чтобы поговорить о нём.

– Интересно! – удивилась я. – Но мне так мало известно об Ивинском.

– Вот именно, интересно! – горячо подхватила Валентина Морицевна. – здесь, в усадьбе, многое приписывается Худекову напрасно. На самом деле истинно цветущей она была при Матвее. При нём построены барский дом и церковь, воздвигнут обелиск, появились фонтаны и каскады прудов. Худекова как раз и привлёк её романтический, французский облик. Он ведь был галломан, приезжал сюда отдохнуть от петербургской суеты. И занимался здесь хозяйством не в полную силу. Весь его хозяйственный пыл истощился раньше – в Бутырках, душа же принадлежала Петербургу.

А Ивинский здесь жил. Да! Со вкусом жил, как жилали помещики елизаветинской и екатерининской поры: балы, маскарады, катания на лошадях и с гор. Да вы одну катальную горку в парке видели. Теперь пытаются определить её утилитарное назначение, а с неё просто катались. Катались!

– На санках? – усомнилась я: горка была крутой и высокой, со всех сторон её окружали деревья. Впрочем, деревьев у горки могло и не быть два с лишним века назад.

– Помилуйте, какие санки! Так съезжали. Горка водой поливалась с одной стороны. Лёд всегда чистым был. Красота! Теперь подобные горки только для детей делают. Но, поверьте, взрослых они тоже радуют. Скучно нынешние взрослые люди жить стали. А тогда... У Матвея домашние спектакли ставились. Своих актёров держал, итальянцев приглашал. У него же раньше, чем у Ржевского танцовщицы появились. Ах, какие у него были танцорки!

– Валентина Морицевна подняла руки и, не двигаясь с места, ловко и грациозно изобразила танцевальное движение – не дать не взять, одна из этих танцорок.

– А какие устраивались псовые охоты на лис, на зайцев. Великолепные у Матвея были собаки. Он любил собак. Особенно этого, Нерона. Ему волк сухожилие, что ли, повредил, он и охромел. Да это его вы видели по утрам...

«Господи, что за чушь мелет! Она сумасшедшая, – подумала я. – Этого мне ещё не хватало!» – а вслух произнесла:

– Но вы же говорили, что это ваша собака.

– Теперь моя... и, успокаивая меня, добавила смущённо: – Простите, увлеклась. – И тут же перешла на деловой тон «бизнес-леди»:

– Хочу предложить вам идею проекта – написать роман о Матвее Ивинском и наивной, скорее даже глупой, девушке, на свою беду полюбившей его.

«Подумаешь, идея! Да таких идей сейчас, когда к усадьбе привлекается внимание, – пруд пруди. Сама по себе идея – ничто, если не подкрепляется материалом», – не увидела я никакой новизны и интриги в этом предложении.

– Вы одна из литераторов, как говорят нынче, в теме, в материале, – продолжала дама. – Никто до вас об усадьбе, о парке не писал...

– Ну это не так: писали и прежде, пишут сейчас, будут писать и потом.

– Я не имела в виду статьи. Вы не дослушали меня, – холодно, как знающая себе цену деловая женщина, не согласилась со мной Валентина Морицевна.

Она каким-то неуловимым образом поменяла не только манеру держаться, но и позу, собрала своё экзотическое платье, и оно выглядело теперь светлым деловым костюмом.

– Я намеревалась вести речь о романе, то есть произведении художественном, где

допускается вымысел или то, что читатели и критики посчитают им. Необъяснимые и противоестественные явления тоже не возбраняются. Пока на этот путь в связи с парком ступали только вы да Чехов.

– Вы подразумеваете «Чёрного монаха»? – опять не выдержала я, хотя только что была уличена этой «бизнес-леди» в неумении слушать собеседника, а значит, вести деловую беседу. У деловых людей принято дать собеседнику выговориться, проанализировать всё им сказанное, а потом только высказать своё мнение. В этой принятой ещё советскими партийными работниками форме официального общения, на мой взгляд, заложено некое лукавство, выгодное инициатору беседы. Реплики, разрывающие монолог, способны изменить ход разговора, его направление, уменьшат время, нужное для анализа. Но не из желания сбить собеседника прерываю я монологи: самой поговорить хочется.

– Так ничем, кроме рассказов ерлинцев, фольклора, да неясного воспоминания Надежды Худековой, то, что Чехов бывал в этой усадьбе, не подтверждается. И уж, конечно, никакого «чёрного монаха» он не видел.

Дама засмеялась. У неё был очень приятный, звонкий, молодой смех, и голос был красивый, необычный – постоянно меняющий тембр и высоту.

– Наша встреча тоже не будет подтверждена документально, – сказала она. – Чехов жил во флигеле, который сейчас ремонтируется. Монаха он, действительно не видел, но столкнулся с кое-чем таким необычным, что усомнился в нормальности своего рассудка и как доктор и материалист решил собственную встречу с необъяснимым, противоестественным передать своему герою. Не хватило ему смелости поведать читателям, что произошло тогда в парке на самом деле. А вот Есенин не отказался от своего «Чёрного человека».

– Теперь мне кажется, что вы искусствовед, – заметила я насмешливо, желая, чтобы дама уловила насмешку. Ведь о литературе, живописи и медицине судят порой очень далёкие от этих областей люди, а дама то и дело демонстрировала мне какой-то вселенский опыт. Но она отмахнулась от насмешки, словно от комара. Кстати, комаров не было – август. Время от времени между мной и ею проносились летучие мыши. Я видела их каждый вечер, но так и не узнала, где же они обитают днём. Чердачного окна на школьной крыше не было.

– Скорее, я историк, – возразила она вполне дружелюбно. – Вы же думаете, что сумасшедшая, но поторопились с определением. Вспомните, как называли необычных людей в старину... «не от мира сего». Не от мира сего! – подчеркнула дама. – Но вы не допускаете существования параллельных миров, в чудеса не верите, конечно, и местные предания воспринимаете только фольклором.

На этот раз я промолчала. Она была права. В чудеса я не верила, хотя очень хотела, чтобы они были. С удовольствием смотрела телевизионные программы, где всерьёз говорилось о драконах, змеях-горынычах, леших и домовых, с замираньем сердца читала журнал «Чудеса и приключения». В нём авторитетные люди рассказывали о случаях полтергейста, о перемещениях в иные временные пласты. Всё это прекрасные сказки для взрослых. А моя гостья продолжала меня вразумлять:

– Разве в вашей жизни ни разу не было случая, который вы могли бы объяснить лишь чудом?

Такие случаи со мной бывали, но не рассказывать же о них первой встречной, да ещё такой странной... Происходили они всякий раз после того, как я в разговоре с кем-нибудь особенно рьяно отрицала возможность необъяснимых явлений. Но всё это были мелкие чудеса, не выходящие за пределы моей квартиры. Домашние называли их «чудесиками» и считали моими шалостями, в свою очередь я проделки нашего «домового» приписывала своим сыновьям. Ну какой серьёзный домовый мог позабавиться тем, чтобы зажечь днём в наше отсутствие во всей квартире свет. Сияли не только лампы под потолком, но и настольные. В следующий раз на бельевой верёвке в ванной висели огрызки колбасы и сыра. Позднее кто-то, когда мы все ужинали на кухне, в большой комнате украсил

антенну телевизора носками старшего сына, которые тот при мне снял и, на мое удивление, упрятал почему-то под диванную подушку. А под какой-то Новый год некто устроил в нашей квартире шоу: хозяева и гости обнаруживали мандарины в самых неподходящих местах. Подозревая сыновей, я всё-таки рассказала об этих «чудесиках» писателю-фантасту. «Не волнуйтесь,— сказал он,— и не пугайтесь. Они безобидные, весёлые ребята». Имел он в виду не моих сыновей, а так называемые сущности... Были и ещё всяческие неясности, которые у меня не было времени вспомнить, потому что дама задала новый вопрос, на который следовало ответить немедленно:

– Ну а чем вы объясните эти красные огни? Ведь не скажете, что их не видите?

Красные огни вновь горели, пульсировали или перемещались.

– Думаю, кто-нибудь из ребят забавляется, бегает с фонарём. Дискотека кончилась. Возможно, у них здесь игра такая: друг друга на храбрость проверять. Вот и бегают с фонарём на погосте.

– Вы не исправимы! – дама опять засмеялась и сказала серьёзно и значительно, словно открывала тайну: – Огни показывают вход в иное временное пространство тому, кто ненадолго покинет его. Этот парк – так называемая аномальная зона с очень мощной положительной энергетикой. Потому он так и притягивает людей. Потому и Худеков с женой надолго покидали Петербург ради него. А подземные ходы, о которых вам, конечно, рассказали дети, но никто в селе до сих пор их назначения не разгадал, – коридоры в иные миры.

– Их что же Ивинский соорудил? – спросила я с искренним интересом, подпадая под гипноз услышанного.

Влияние аномальной зоны я сама ощущала. О подземных ходах и прежде мне не раз доводилось слышать. Дети рассказывали, что, по воспоминаниям бабушек, одним из ходов воспользовались Худековы, скрываясь от погромщиков. Назывались и какие-то сельские смельчаки, которые будто бы исследовали эти ходы и даже установили, что ведут они от церкви к пруду. А потом доступ в них кто-то закрыл, завалил то ли камнями, то ли вообще замуровал. В общем, разговор у нас с дамой зашёл наконец о вполне конкретных вещах. Мало того, областью необъяснимых явлений становился хотя и таинственный, но давно знакомый парк. И если профессор Эрнст Мулдашев отправляется за чудесами на Тибет, на остров Пасхи, в подземелье Крита, то мне можно было спуститься с крыльца, просто шагнуть в темноту к манящим красным огням и оказаться в ерлинском подземелье. Позови меня тогда дама, я бы бросила незакрытой школу и пошла бы на красные огни. «Красные глаза?» Вспомнилось, что Мулдашев говорил в интервью корреспонденту «АиФ» будто на острове Пасхи «существует культ птичеловека, который считается строителем подземелий и у которого красные глаза».

Валентина Морицевна охладила мой пыл. Я была нужна ей в земном пространстве.

– Ивинский к подземным ходам не имел отношения, – сказала она. – Узнал о них поздно, когда по незнанию на их пересечении задумал храм воздвигнуть. Люди сведущие принялись его отговаривать, но он им не хотел верить. Хорошо, зодчий их послушал и место стройки несколько отодвинул. Да и ко всему таинственному он относился примерно так, как вы: чего не могу объяснить, того попросту не может быть. Худеков был другим, тот от чудес не отмахивался, потому и остался в живых. Жаль, бедная Надежда Алексеевна не выдержала подземного путешествия... Но мы заговорились, и я так не рассказала вам об Ивинском, о несчастной девушке. Вы ведь взялись писать роман. Я хмыкнула. Признаться, рассказ о подземных коридорах и их строителях, кто бы они ни были, птице-люди или обычные люди, меня в ту минуту интересовал куда больше, чем какие-то байки об Ивинском. Биография его хотя и богата приключениями, достойными пера Вальтера Скотта или Дюма-отца, но все они земные, реальные, а, порывшись в мемуарной литературе, можно и что-нибудь новенькое откопать.

– Итак, слушайте, – дама поёрзала.

Я теперь только обратила внимание на то, что во время нашего разговора она не сделала

попытки оставить своего места – так и сидела в пол оборота ко мне на эстраде, у ведущей к ней невысокой лесенки. При диалоге – пикировке с такой разобщённостью собеседникам ещё можно было мириться. Хотя со стороны, должно быть, это выглядело странно: разговаривают двое долго, но всё держат дистанцию, словно опасаются друг друга. Доверительный же разговор требовал иной обстановки, максимального приближения друг к другу, когда можно смотреть в глаза собеседнику. До сих пор же дама глаз на меня не поднимала, по крайней мере, я не уловила их блеска.

– Извините, что я вас раньше не пригласила к себе. Там душно и комфорта мало, да и не думала, что наша беседа так затянется, примет такой оборот. Ну, может быть, ещё не поздно... Чаю попьём. За чаем и расскажете, а я постараюсь записать.

– Нет, нет! – как-то испуганно запротестовала дама. – Как раз уже поздно. Спасибо, но в моём распоряжении меньше часа. И записывать ничего не надо. Что запомните, хорошо, остальное домыслите.

– Тогда пройдите сюда. Я стул принесу. Здесь при свете за временем следить легче. У вас же там совсем темно стало. Лампочка, наверное, в раздевалке перегорела, а у меня часы стали.

Странное дело, после того, как Валентина Морицевна объяснила назначение красных огней и подземных ходов, я больше не думала, что она не в своём уме и перестала её опасаться. Может быть, это случилось подсознательно оттого, что еженедельно читаю «АиФ», где в рубрике «Непознанное» печатаются почти трёх миллионным тиражом подобные откровения профессора Э. Мулдашева и редакция популярной газеты не сомневается в его душевном здоровье.

Поменять своё место гостя отказалась, сославшись на то, что в её платье неудобно сидеть на детском стуле, а часы ей не нужны, потому что она определяет время по перемещению луны:

– Сейчас она слева от обелиска, а будет справа – уйду.

– Так это лунные часы? – вырвалось у меня.

– Лунные часы специального назначения, – подтвердила дама. – Наконец-то хоть один человек догадался.

С крыльца ни луны, ни обелиска не было видно. Красные огни продолжали гореть. Я потеряла счёт времени, но понимала, что уже очень поздно, а до «очень рано» осталось совсем немного. Сосед не возвращался, но теперь меня уже волновало, что он вот-вот появится.

Она говорила минут сорок, не останавливаясь. Время от времени отгоняла летучих мышей. Их, наверное, привлекало её светлое платье. Считается, что они особенно падки на белый цвет, значит, платье у неё было белое.

– Ну вот и всё! – с сожалением сказала Валентина Морицевна и поднялась на эстраду. Обувь на ней не оказалось. Пол на эстраде не отличался ровностью и гладкостью – не для «босоножек», но она вдруг закружилась в каком-то старинном танце, возможно, менуэте, приговаривая в такт:

– Горемычный ваш сосед. Ему давно спать пора. Он же всё на аллею выйти не может. Застрял в кусте бузины. Да вы не беспокойтесь. Минут через пять появится. А воспоминания мои используйте по своему усмотрению. Исторического антуража к ним прибавьте – и роман готов, «Легенда ерлинской усадьбы». Ну прощайте! – месяц справа. Она стремительно и легко спустилась по противоположной лестнице.

– Ноги наколите! Фонарик мой возьмите! – я кинулась за ней, обежала эстраду, но дамы уже и след простыл, как принято выражаться в таких случаях. На самом же деле её скрыли темнота и не вырубленная ещё сорная поросль, так что и светлое платье не виднелось. Не получив, никакого отклика на свою запоздалую заботу, я вдруг испытала досаду, почувствовала себя одураченной. Ключнула на мистические выдумки какой-то отставной балерины, несомненно, приезжающей в село на лето. И то, что она рассказала – явная

фантазия, мало ли нынче фантазёров. Чего только ребята не выдумывали! Красные огни больше не горели. Зато кто-то зажжёт фонарь у школы, с противоположной стороны от эстрады. Для собственного успокоения решила, что это сделал ночной школьный сторож. Числился такой по штату. Но видеть его пришлось раза два. Каждый раз он приходил с собакой (потому-то я о собаке у дамы спросила), зажигал фонарь и отправлялся в котельную коротать ночь. Потом он куда-то исчез. Может быть, потому, что школа стала охраняться живущими в ней. Теперь настала пора ему вернуться, утром постояльцы уезжают.

Привычный электрический свет высветлил пространство у школы. В нём отчётливо теперь различались и серый асфальт дорожек, и золотые шары на клумбах, и серебристый ствол поверженного тополя, который никак не мог быть посажен Ивинским: два века тополя не живут.

Я немного погуляла по освещённым дорожкам. Досада прошла: неизвестные участники мистификации повеселились сами, но ведь и развлекли меня, не дали соскучиться в обществе летучих мышей. Спасибо выдумщикам и фантазёрам!

Пришёл сосед. На его лбу красовалась шишка. Предпочла о происхождении её не спрашивать. Но он сам посчитал нужным объяснить, что вдруг заблудился, блуждал более часа, врезался в дерево у обелиска и только тогда нашёл дорогу. Его приключение со своим я не стала связывать (каждому своё!) и о визите дамы ему не рассказала.

Поутру необычно густой туман объял весь парк. Так же надёжно, как накануне ночью тьма, скрыл кусты, деревья и строения. Да вдобавок от него несло запахом гари. Я было встревожилась. Дым! Уж не загорелся ли дендрарий за прудом или прилегающий к нему лес. Но пришедшая школьная уборщица объяснила, что в округе горят стерня и скирды соломы. Поговорили с ней немного о том, что почему-то в последнее время солома устраняется из сельского обихода, прежде же как только её не использовали: дома крыли, скоту подстилали, отапливались, саман делали. Этот прозаический разговор далеко увёл меня от таинственно-романтической беседы прошедшей ночи. Отодвинул меня от неё настолько, что я, как это уже бывало в подобных случаях, усомнилась, что эта беседа вообще была. Могла я и задремать, сидя на крыльчке да ещё и прихватив для уюта белый пуховой платок. Но всё-таки решила взглянуть до прихода машины на то место, где мигали красные огни. Чуть ли не раздвигая завесу тумана руками, побрела по мокрой сныти к погосту. Что, собственно говоря, там можно было обнаружить – помятую траву, огарки новогодних свечей, фонарь путевого обходчика или входы в подземелье?

Наткнулась только на яму, поросшую по краям жирной крапивой. Знала уже, что некогда там находился склеп, то есть по определению Даля, «подземная погребальница под каменным сводом». Давно этого свода не существовало. Ребята рассказывали, что лежал в склепе, в гробу, кто-то в старинном военном мундире. Что-то говорили и о том, будто из склепа начинается один из подземных ходов. Каюсь, о подземных ходах я их плохо слушала, поскольку в них не верила – обычные атрибуты усадебной таинственности. Упоминали они и скелет человека, не положенного в гроб, и замурованного то ли в склепе, то ли в подземном ходе. Но это тоже традиционный элемент фольклора о местах таинственных. Тот же Даль, толкуя значение слова «склеп», не преминул сообщить: «Встарь преступников живьём в склеп закладывали, замуровывали». Он имел в виду, конечно, погребальную выложенную камнем или кирпичом яму, отнюдь не архитектурное сооружение.

Я избегаю погостов, хотя на них можно сделать существенные исторические открытия. Бывая часто в Ерлине, не пыталась исследовать погоста Архангельской церкви. Довольствовалась тем, что услышала от старожилов. У церкви похоронены Ивинские и старший сын Сергея Николаевича Худекова, Николай, который в этой церкви венчался с приёмной дочерью известного поэта Плещеева, Любовью. Признаться, то, что Николая, петербуржца по рождению, роду занятий (он много лет редактировал «Петербургскую

газету») и образу жизни, похоронили в отдалённой от столицы усадьбе, меня до сих пор удивляет. И видится в этом некая, но не мистическая тайная, связанная со смертью Николая в Германии.

Итак, поняв, что натолкнулась на склеп, я тотчас же пошла назад.

Туман заметно поредел – посветлело, но всё ещё стояла какая-то ночная тишина. Может быть потому, что птицы и всякая прочая живая мелочь не решалась из-за тумана покинуть свои ночные пристанища. Вспомнилось стихотворное утверждение юной поэтессы Кати:

Если прислушаться, нет тишины:

Мышь пробежала, стрекочет кузнечик.

Лучики солнца сошли с вышины,

С веткой из гнёздышка выпал вдруг птенчик.

Он запищал, юркнул в ворох листвы.

Я лишь безмолвно смотрела на глазки.

Пискнув, он будто спросил: «А кто ты?»

Это во мне он искал птичьей ласки.

Но Катя, наверное, слушала тишину весной. В последние же дни лета молчали, выросли птенчики, затаились мыши, молчали в ожидании солнца кузнечики.

У школы меня ждала одна из учительниц. Пришла нас проводить вместо директрисы. Ту, бедняжку, спозаранку ужалило какое-то насекомое, и её отвезли в районную больницу.

Тревожное сообщение потянуло за собою цепь ассоциативных воспоминаний с обеих сторон, мы сели на эстраду и в ожидании машины принялись разговаривать. Но из-за этого печального события мне казалось неуместным спросить о Валентине Морицевне. Я бы, наверное, так и уехала, ничего не узнав, если бы учительница не задала вопроса:

– Вам не жутко тут было ночевать?

Я засмеялась:

– Вчера подобным образом посочувствовала мне какая-то незнакомка, но её вопрос был ко времени, – и, не давая учительнице возможности ответить на мой упрёк, спросила: – Кто такая Валентина Морицевна?

– Проболтались всё-таки! – возмутилась она. – Не утерпели! Мне сказали, что Катя не сдержала слова, но я не поверила.

– О чём вы? При чём тут Катя! Она всего лишь рассказала о какой-то игре, о бабке-матерщинице, – меня чрезвычайно удивила реакция учительницы. – Никто мне ничего про Валентину Морицевну не говорил. Вас я о ней спрашиваю только потому, что вчера вечером с ней разговаривала...

– Этого не может быть! Почему именно со мной вы решили пошутить напоследок? – возмущённая больше прежнего, моя собеседница встала. Поднялась и я. – Вам мало одной выдуманной вами «тени Никии»? – продолжала она. – Мало того, что ребяташки теперь ищут её в парке, а взрослые готовы посчитать вашу выдумку местной легендой? Мистики у нас теперь – хоть телевизор отключай! А тут ещё вы, серьёзная, солидная женщина, её добавляете. Тему конкурсную предложили «Легенды старинных усадеб» – ребяташки бабок своих совсем извели расспросами, на погосте с утра до вечера толкуются. А вам всё мало – до Валентины добрались! Нет её, нет! Фантом это. Чья-то давнишняя выдумка. Живёт в селе до сих пор благодаря нашему невежеству. Призрак это безголосый, а вы: «Вчера с нею разговаривала». Не может этого быть!

«Потому, что не может быть никогда», – мысленно закончила я её резюме известным юмористическим выводом.

Туман между тем рассеялся. Наступило прекрасное летнее утро, в котором не было места ночным таинствам. О красных огнях я предпочла после этой отповеди умолчать и не настаивать на том, что разговаривала с Валентиной Морицевной. Нужно было идти в

школу за вещами, но возбуждённая учительница продолжила свой рассказ. По её словам, два с половиной века назад Валентина Морицевна была одной из танцовщиц Ивинского, привезённой им из Петербурга. Имела она якобы очень высокое, но незаконное происхождение. Помимо танцев, ходила ещё и по канату, за это в селе её звали девка-канатоходка.

– Но Катя говорила о бабке -матерщинице, ходившей по нитке-канату.

– Бабка появилась позднее, в интерпретации скоморохов. Они разыгрывали некое кукольное действо, связанное с ерлинским событием. У них же канатоходка и материться стала. Вернее, не материться, а ругаться на непонятном языке. Валентина, когда у неё что-то не получалось, говорила: «Donner Weter. Main Got». Ну а потом, через много лет, будто бы призрак её стал являться в парке и большом усадебном доме. Об этом заговорили в селе, пошло по всей округе. Наследники Ивинского усадьбу забросили. Она постепенно пришла в упадок. Никто покупать её из-за этих рассказов не решался. Крестьяне бедствовали. После реформы побежали кто куда. Потом на сельской сходке решили о Валентине никому из пришлых не говорить и будто бы, чтобы задобрить призрак, девочек Валентинами стали называть. Валентин в селе действительно многовато, но, кажется, теперь этой традиции пришёл конец. Во всяком случае, среди учениц у нас нет ни одной Валентины. В общем, сказки всё это, сказки. Да ещё: встреча с этой Валентиной крайне опасна, говорят, она взглядом, испепеляет человека, что ли. А вы, гляжу, целёхонька. И чего вы вдруг спросили про неё?

– Узнать настоящую ерлинскую легенду хотела, – ответила я и обняла учительницу. Расцеловались. Примирились.

Подкатила машина. Остановилась перед поваленным и всё ещё тлеющим внутри тополем. Из школьных дверей вышел мой коллега – пожилой господин, обряженный в майку, шорты и сандалии, разговаривая по телефону, направился к машине.

Продолжалось обычное утро XXI века, века многомарочных легковых машин, автомобильных пробок, многоканальных телевизоров, многофункциональных компьютеров и сотовых телефонов.

И как же жили в XVIII веке без всего этого наши предки, как же жила Валентина Морицевна, призрак которой не может быть потому, что не может быть никогда.